

Слово к читателю

Зачастую одно лишь имя автора на обложке книги способно дать достаточно полное представление о ее жанре, стиле, характере изложения материала и, конечно же, о художественной ценности. Любая из книг Александра Дюма непременно предполагает романтические коллизии, увлекательную фабулу, напряженный конфликт, сочный колорит эпохи, простой и энергичный язык. В каждой его книге звенят шпаги и грохочут выстрелы в ходе яростной и непримиримой борьбы между Добром и Злом, за честь, за человеческое достоинство, за духовные ценности и, разумеется, за любовь, которая по обыкновению является главной пружиной конфликтного противостояния персонажей, но при этом бывает необычайно уязвимой для отравленных стрел злобы, зависти, клеветы и низменного меркантилизма.

Книги Дюма — зеркало не только духовного мира писателя, но и всей его жизни, события которой порой прямо перекликаются с коллизиями самых остросюжетных из его произведений.

Отец писателя — наполеоновский генерал Дюма Дави де ла Пайетри, был плодом любви французского аристократа и чернокожей рабыни. Испытавший множество ударов жестокой судьбы, он женился на дочери трактирщика в небольшом городке Виллер-Котре, где и появился на свет их наследник, будущий автор мировых бестселлеров.

В двадцатилетнем возрасте, как многие из его героев, он отправляется покорять Париж. С двумя луидорами в кармане, но с дерзкой мечтой о славе и независимости.

Безвестный переписчик в канцелярии герцога Орлеанского становится автором ряда пьес, имевших шумный успех на столичной сцене и принесших ему заслуженную славу.

Когда в июле 1830 года вспыхнула революция, популярный драматург принимает самое активное участие в ее событиях, включая штурм королевского дворца Тюильри.

Вскоре он начинает писать историко-приключенческие романы и становится признанным мастером этого жанра.

Но, подобно многим своим героям, Дюма не был практичным человеком. В тот период, когда литературная слава принесла определенные материальные результаты, он решил воплотить свою давнюю мечту — стать владельцем замка. И он стал им, но толпы околосредствительных прихлебал, да и собратья писатели, кто из действительной нужды, а кто из мстительного желания поспособствовать разорению талантливого коллеги, так широко пользовались его гостеприимством и щедростью, что довольно скоро замок был продан за долги.

Дюма имел отношение и к революционным событиям 1848 года, после чего отправился путешествовать, в частности посетил Россию и Кавказ.

Хотя он продолжал неустанно писать обо всем, что видел, о чем мечтал и куда звала его необузданная фантазия, денег не хватало на покрытие текущих расходов, не говоря уже о долгах. К концу 1870 года тяжело больной Дюма кое-как добрался до загородного имения своего сына, тогда уже процветающего драматурга, имея в кармане два луидора, ровно столько, сколько было у него в те шальные времена, когда он, подобно самому главному из своих героев — д'Артаньяну, ехал покорять Париж...

В январе 1871 года великого писателя не стало.

Как высказался Дюма-сын, «он умер так же, как и жил, не заметив этого». Зато заметили миллионы и миллионы людей, для которых имя Дюма-отца является одной из величайших вех человеческой цивилизации...

Роман «Воспоминания фаворитки» посвящен, как и многие из произведений писателя, процессу становления личности, карьере человека, который вступает в мир, не имея практически никаких шансов его покорить или хотя бы каким-то образом выделиться из массы себе подобных. Однако благодаря силе характера, воле к жизни и тому трудно постижимому качеству, которое принято называть харизмой, достигает возделенных высот.

Таков и д'Артаньян, таков сам Дюма, таков Бальзамо и таковы многие герои писателя, дерзко и целеустремленно пробивающие себе дорогу сквозь жизненные джунгли.

Эмма Лайона, крестьянка, дочь служанки, совершает головокружительную карьеру, приехав покорять Лондон без малейших надежд на успех. Она, бесспорно, красива, но мало ли в столице красавиц, которые в лучшем случае становятся белوشвейками, а в худшем — и гораздо более распространенном — идут на панель... Но Эмма становится любовницей адмирала Джона Пейна, затем — натурщицей известного художника, общается с лучшими умами своей эпохи, выходит замуж за лорда Гамильтона, становится подругой королевы Неаполя, и в конце концов — возлюбленной прославленного флотоводца Горацио Нельсона. Можно сказать, знаменитой возлюбленной, потому что, кроме людской молвы, образ леди Гамильтон был увековечен многими мастерами художественного творчества, и в первую очередь — Александром Дюма.

Насколько правдива эта история? Начнем с того, что объективно правдивых историй не существует как таковых, ведь излагается история человеком, пропустившим ее сквозь призму своего мировосприятия, своих стереотипов мышления, симпатий, антипатий и других индивидуальных особенностей. Одно можно сказать со всей уверенностью: Дюма всегда очень бережно относился к сути характера эпохи, а в каком именно месяце и какого числа адмирал Нельсон впервые поцеловал руку леди Гамильтон — какая разница?

Как заявлял сам писатель, «исторический персонаж или событие — всего лишь гвоздь, на который я вешаю свою картину».

А картина, конечно же, ценнее любого гвоздя.

Тем более если речь идет о шедевре Александра Дюма.

Пролог

Четырнадцатого января 1815 года, около пяти часов вечера, по устланной снегом дороге от селения Вимий к расположенной между Булонь-сюр-Мер и Кале маленькой гавани Амблетёз, куда в 1688 году высадился изгнанный из Англии король Яков II, шагал священник, предшествуемый пожилой женщиной, видимо его провожатой. Он шел быстрым шагом, свидетельствовавшим о том, что его с нетерпением ждут, и беспрестанно запахивал полы плаща, пытаясь укрыться от порывов ледяного ветра, дувшего с берегов Англии. Было время прилива, и к реву валов, накатывавшихся на берег, примешивался глухой скрежет гальки, потревоженной прибоем.

Пройдя около подулье по дороге, обсаженной двумя рядами чахлах вязов — зимой их оголяла сама зима, а летом трепал морской ветер, — старуха свернула на едва заметную под снегом тропку: она начиналась справа от дороги и упиралась в порог маленькой хижины, построенной высоко на склоне холма, что господствовал над окрестными далями. Лишь слабый огонек света или масляной лампы мерцал в окне, указывая местоположение этой хибарки, совершенно утонувшей в снежной мгле.

Нашим путникам хватило десяти минут, чтобы добраться до порога; старуха уже протянула руку, чтобы открыть дверь, но та распахнулась сама, и молодой нежный голос произнес с чуть заметным английским акцентом:

— Входите, господин аббат! Моя матушка ожидает вас с нетерпением.

Старуха отступила в сторону, пропуская вперед священника, и вслед за ним вошла в хижину. Молодая девушка, открывшая им, затворила дверь и провела их во вторую комнату, единственную, где горела лампа. Лежащая в постели женщина с усилием поднялась, увидев их, и слабым голосом спросила по-английски:

— Это он?

— Да, матушка, — на том же языке ответила ей девушка.

— Так пусть он войдет! Пусть войдет! — перейдя на французский, воскликнула больная и бессильно упала на подушки.

Пройдя во вторую комнату, священник склонился над кроватью, между тем как девушка и старуха остались за порогом.

По-видимому, даже попытка пошевелиться очень утомила несчастную, и ее голова безвольно откинулась назад; слабеющей бес-

кровной рукой она лишь указала на кресло, призывая служителя Господа приблизиться и сесть напротив.

Священник понял этот знак, придвинул кресло к ее изголовью и сел.

Наступившую тишину нарушало теперь лишь прерывистое дыхание умирающей и всхлипывания, которые девушка тщетно пыталась подавить в своей груди.

Священник же воспользовался заминкой, чтобы оглядеться.

Внутреннее убранство хижины являло собой странную смесь роскоши и нищеты. Мебель здесь осталась такой, какой и подобает быть в бедном доме, вид стен свидетельствовал о том же; однако простыни на постели больной были из тончайшего голландского полотна, ее ночная рубашка — из самого дорогого батиста, а платок, охватывавший ее шею и удерживавший копну великолепных каштановых волос, окаймляла драгоценные кружева, которым Англия даровала свое имя.

Напротив кровати, разделенные лишь окном с бедными ситцевыми занавесками, висели два парных портрета мужчины и женщины в полный рост; принадлежа, по-видимому, кисти одного из знаменитых современных живописцев, они бросались в глаза великолепием красок и своими размерами.

С одной картины на священника смотрел старший офицер британского флота. На его голубом мундире, слева, под орденом Бани — весьма почитаемым в Англии, где его дают лишь за великие благодеяния, оказанные отечеству, — красовались еще три награды; знаток подобных материй без труда распознал бы в одной из них неаполитанский орден Святого Фердинанда «За заслуги», в другой — мальтийский орден Святого Иоахима, учрежденный российским императором Павлом I и канувший в небытие вместе с ним; что касается третьей, то это был оттоманский Полумесяц, заключавший в своем изгибе бриллиантовый вензель султана Селима III.

Однако особенно примечательно выглядело овеванное славой увечье, жертвой которого стал тот, с кого был писан портрет: широкий шрам, пробороздивший лоб, и черная повязка под ним, прикрывавшая вытекший глаз, не говоря уже о пристегнутом к пуговице мундира правом рукаве, где пряталась культя отнятой выше локтя руки.

Изображенный на портрете светловолосый человек был среднего роста, его оставшийся единственный глаз искрился живым умом, наконец, орлиный нос и крупный волевой подбородок свидетельствовали о решительности и храбрости, столь необходимых воину.

Напротив, женщина являла собой чистый идеал красоты и грации. Ее каштановые волосы без всяких украшений великолепными прядями

ниспадали на шею и грудь; черный цвет глаз и бровей подчеркивал ослепительную свежесть кожи; точеный нос восхищал правильностью своей формы, а по-детски полураскрытые губы напоминали розовый бутон в весеннее утро и давали возможность если не увидеть, то угадать два ряда жемчужин.

Молодая женщина на портрете была облачена в кашемировый хитон, шитый на древнегреческий лад; на ее правое плечо художник небрежно набросил пурпурный плащ; талию обхватывал широкий пояс из расшитого золотом вишневого бархата, а тяжелая пряжка была украшена камеей с профилем старца.

Было совершенно очевидно, что на этом великолепном портрете изображена сама больная: во всем ее облике, хотя ей перевалило за пятьдесят и тяжелый недуг исказил ее черты, ощущались следы той изысканной прелести, которую художнику удалось передать на холсте.

Пока служитель Господа предавался, так сказать, невольной созерцательности, страдальца медленно раскрыла глаза и устремила на него тревожный взгляд: казалось, она пытается прочесть на лице того, кого она призвала в посредники для последнего примирения между нею и Всевышним, предвестие небесного гнева или небесного милосердия.

Священник был немолод — лет шестидесяти пяти; хотя несколько выбившихся седых прядей скрадывали мягкую безмятежность его чела, лицо выдавало простоту доброй души, и во взгляде тлеяла искорка той неисчерпаемой нежности, какую Леонардо да Винчи придал выражению глаз Иисуса.

Приглядевшись к нему, больная испытала явственное облегчение и решила заговорить:

— Отец мой, во всех священных книгах, которые мне довелось прочесть, сказано, что милосердие Господне беспредельно; но я послала за вами для того, чтобы услышать то же самое от служителя Господа... Мои пороки, грехи, даже преступления (последнее слово она произнесла, понизив голос) столь велики, что мне необходимо слово такого святого человека, как вы, чтобы не умереть от отчаяния ранее, увя, близкого естественного конца.

Священник не без удивления взглянул на эту женщину с приятным голосом и умиротворенным лицом; поистине ангельское выражение ее глаз пощадила даже лихорадка, снедавшая исстрадавшуюся плоть: неужели из этих уст прозвучало столь чудовищное признание? Помедлив, он отвечал:

— Дочь моя, это страх смерти смущает ваш ум и чувства. Женщина — слабое создание, чье положение в обществе подчас вынуждает ее впадать в заблуждения и даже в серьезные грехи, однако, если

я правильно вас понял, вы обвиняете себя не только в заблуждениях и грехах, но и в преступлениях.

— О, именно так, отец мой: в преступлениях! Да, я не могу не понимать, что во времена, когда герой называл меня своей повелительницей, а королева — подругой, что в пору моей молодости, в вихре удовольствий и счастья, я не расценивала свои деяния подобным образом; однако, после того как его не стало и она тоже отошла в мир иной, с тех пор как меня постигли нищета и невзгоды — воистину, возмездие, кара небесная, — горе заставило меня усомниться в праведности моего пути. Ныне, отец мой, я увидела себя в подлинном свете: плоть мою пятнает грех распутства, а руки измараны в крови!

— Дочь моя, милосердие Господне беспредельно, — возразил пастьер, — а Иисус именем своего Отца отпустил грехи и Магдалине, и несчастной, совершившей прелюбодеяние.

Тут больная протянула руку, положила ее на локоть священника и постаралась приподняться, чтобы приблизиться к нему.

— А Иродиаде он простил? — спросила она.

Священник почти в ужасе отшатнулся:

— Так кто же вы?

— Да, воистину, отец мой, — со вздохом прошептала несчастная, — назови я вам сразу свое имя, все тотчас стало бы ясно... О, только не покидайте меня, когда я вам его открою! — добавила она.

— Дочь моя, — сказал священник, — даже если бы на моем пути оказался отцеубийца, я не оставил бы его и утешал бы, сопровождая до самого эшафота.

— Ах, эшафот — это искупление! — вскричала больная. — Если бы я окончила жизнь на плахе, а не вот так, в собственной постели, сомнения не терзали бы меня.

— Неужели вы совершили убийство? — не без содрогания спросил священник.

— Нет, отец мой. Но я позволила ему свершиться...

— Осознавали ли вы тогда, что идете на преступление?

— О нет, нет!.. Мне казалось, что я оказываю услугу королю, я возомнила, что служу Господу, но на самом деле лишь утоляла собственную жажду мщения. Неужели вы полагаете, что Господь сможет подобное простить той, которая сама не прощала?

Священник внимательно поглядел на нее. Помедлив, он спросил:

— Вы англичанка?

— Да, отец мой.

— Вы протестантка?

— Да.

— Почему же вы не послали за служителем одной с вами веры? В Булони есть пастор.

— Знаю...

Больная покачала головой и горестно вздохнула.

— Так в чем же дело? — настаивал священник.

— Наши пасторы, отец мой, слишком суровы, ведь вера наша непреклонна... А потому я не осмелилась.

— Что ж, дочь моя, тем самым вы воздали немалую хвалу вере моих отцов. Почему же вы не обратились в ее лоно?

— А если бы она отвергла меня?..

— Наша вера приемлет всех, дочь моя. Разве Иисус не сказал доброму разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю»?

— Но разбойник был на кресте, он умирал вместе со Спасителем.

— Кто умирает во Христе, умирает и со Христом, а раскаяние стоит распятия. Ведь вы раскаиваетесь, дочь моя?

— О, искренне и горячо, клянусь вам! — воскликнула грешница, воздев руки.

— Вы раскаиваетесь только лишь из страха смерти?

— Нет, отец мой, покаяние пришло ко мне, как к святому Павлу на пути в Дамаск: словно пелена спала с моих глаз, и я увидела себя такой, какая я есть.

— Но тогда вам должно быть известно, что Господь не только простил святого Павла, но и сделал его одним из своих апостолов, меж тем как тот стерег одежды тех, кто побивал камнями святого мученика Стефана.

— Как вы добры, отец мой, поддерживая и утешая меня так.

— Это мой долг, дочь моя. Когда строптивая овца удаляется от стада, невзирая на лай сторожевых собак, предупреждающих об опасности, добрый пастырь взваливает ее на свои плечи и относит в овчарню, но ведь его не может не обрадовать, если она возвращается сама! Говорите же, поведайте мне о ваших прегрешениях, я готов выслушать рассказ о них, и, если во власти скромного служителя Церкви дать вам отпущение содеянных вами грехов, вы удостоитесь прощения во имя Господа.

— Мое повествование было бы долгим и напрасным: вам достаточно моего имени; когда оно вам станет известно, вы уже будете знать все.

И вновь священник поглядел на нее с удивлением.

— Так каково же ваше имя? — наконец спросил он.

Умирающая склонилась к нему и дрожащим голосом едва слышно прошептала два слова:

— Леди Гамильтон.

— Это имя ничего мне не говорит, дочь моя, — сказал священник. — Мне оно неизвестно, и я слышу его впервые в жизни.

— О Господи! — почти радостно воскликнула больная. — Значит, есть человек, не знающий меня! Есть уста, которые меня не проклинали!

И она откинулась на подушки, вознося хвалу Всевышнему. Но внезапно по ее лицу промелькнул ужас:

— Но ведь в таком случае я погибла, отец мой, у меня не хватит ни времени, ни сил все вам рассказать. А если я не поведаю вам ни о мучительном ужасе нищеты, ни о лихорадочной тяге к золоту, ни о неотвратимых миражах страсти; если вы узнаете из всей моей жизни только о прегрешениях, а не о соблазнах, вы никогда не простите меня... Ах, если бы вы согласились прочесть...

— Прочесть что?

— Повесть моей жизни, переданную во всех подробностях мною самой как первое искупление. Но прежде всего она послужит моей дочери, отвратив ее от пути, на который ступила я, и позволив не впасть в грехи, в которые впаала я...

— Так почему бы мне не прочитать ее, если она написана вами?

— О, клянусь кровью моего собственного сердца!

— Так почему я не смогу ее прочитать? Ответьте же, наконец, прошу вас!

— Потому что я англичанка и писала ее на английском языке.

— Я пробыл пять лет в Англии, с тысяча семьсот девяностого по девяносто пятый, и говорю на этом языке как на своем родном.

— О отец мой, отец мой! — вскричала умирающая, сжав руку священника. — Воистину, мне вас послал сам Господь, это вселяет в меня надежду на прощение.

Потом с лихорадочной горячностью она прибавила:

— Возьмите, отец мой, — и она протянула ключик, завязанный в уголок платка, который извлекла из-под подушки в виде валика. — Возьмите этот ключ и отоприте ящик вон того туалетного столика. Там вы найдете рукопись, озаглавленную «My Life»¹; возьмите ее, прочтите и возвращайтесь так скоро, как сможете, если вы принесете мне прощение. Если же я осуждена, просто пришлите рукопись — я все пойму.

Священник поднялся с кресла, открыл ящик и извлек упомянутую рукопись.

— Дочь моя, — сказал он, — мне придется уделить время и обязанностям, связанным с моим саном. Поэтому я снова смогу повидать вас только завтра в тот же час.

¹ «Моя жизнь» (англ.).

— Думаю, в милосердии своем Господь позволит мне прожить еще один день. Особенно...

Она помедлила, и священник ободряюще поглядел на нее. Она вздохнула и закончила:

— ...особенно если вы дадите мне свое благословение.

— Благословляю вас, бедная женщина, и да ниспошлет вам Всевышний свое благословение, как это делаю я!

Молодую девушку и старуху он застал в соседней комнатке на коленях.

— Доверьтесь Господней воле, дитя мое, — сказал он девушке и положил правую ладонь на ее голову.

Старуха без слов схватила его левую руку и поцеловала ее. Священник вышел.

Больная, пока могла его видеть, не отрывала от него глаз и тянула к нему руки.

На пороге комнаты появилась девушка.

— Матушка, — спросила она, — как вы себя чувствуете?

— Ох, лучше, милая Горация, гораздо лучше! Еще один подобный приход, и этот человек унес бы с собой мое прошлое...

* * *

На следующий день в тот же час священник пришел снова с двумя мальчиками-служками, один из которых нес кропильницу, а другой — распятие.

Больная казалась гораздо более умиротворенной, однако силы ее убывали. Было понятно, что поддерживали ее лишь Вера и Надежда — две дочери Господни.

Священник подошел к кровати, лицо его дышало милосердием.

Девушка и старушка помогли страдальце приподняться и застыли у постели, словно статуи Юности и Увядания по бокам врат жизни. Священник остановился в двух шагах от нее. Она ждала, сцепив пальцы и возведя взгляд к небесам.

— Веруете ли вы в семь таинств, дочь моя?

— Верую, — ответила она.

— Веруете ли вы в пресуществление Иисуса Христа в святое причастие?

— Верую.

— Веруете ли вы в верховенство римского понтифика и его непогрешимость в вопросах веры?

— Верую.

— Веруете ли вы в символы римской Церкви и, наконец, во все, во что верует римская апостольская и вселенская Церковь?

— Верую.

Священник ладонью зачерпнул из чаши немного святой воды и пролил несколько капель на голову умирающей.

— Окрещаю тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа; пусть вода крещения смое твои заблуждения, грехи и даже преступления!

Из груди несчастной исторгся крик радости; она схватила руку пастыря, еще влажную от святой воды, поднесла ее к губам и жадно поцеловала. Затем в порыве одухотворенного блаженства воскликнула:

— Господи, прими душу мою!

И она без сил опрокинулась на подушки, которые ее дочь и старуха перестали поддерживать. Лицо умирающей обрело такую просветленную сосредоточенность, что обе женщины подумали, будто она заснула, и один лишь священник понял: только смерть может придать земным чертам такое небесное спокойствие.

И действительно, она была мертва.

Как она накануне сказала, священник унес с собой ее прошлое, а крестильные воды, струившиеся по ее челу, проникли в самую душу, смыв все: и грязь и кровь!

* * *

А теперь познакомимся с тем, что прочел священник в рукописи, которая называлась «Моя жизнь».

В надежде, что Господь не отринет моего раскаяния и моего смирения, пишу эти страницы.

*Эмма Лайонна, V-я Гамильтон
1 января 1814 года*

I

Мои первые воспоминания восходят к 1767 году, когда мне было три или четыре года. Я никогда не знала точной даты моего рождения; неясно, словно сквозь какую-то дымку, я вижу нас с матерью на какой-то дороге в горах: она то несет меня на плечах, то опускает на землю, и я плетусь за ней, держась за руку или вцепившись в ее подол. Время от времени путь нам преграждают ручьи и матушка берет меня на руки, переходит ручей, а затем снова опускает на землю. Должно быть, была зима или конец осени, мне постоянно было холодно, а иногда и голодно.

Когда мы пересекали городок или какое-нибудь селение, моя мать останавливалась перед лавочкой булочника, умоляющим голосом просила у него хлеба и почти всегда получала его.

А вот на ночлег мы редко останавливались в городках или селениях. Обычно мы выбирали какую-нибудь одиноко стоящую ферму и мать просила, чтобы ей позволили переночевать в сарае или хлеву. Те ночи, когда нам разрешали спать в хлеву, были для меня настоящим праздником: наконец-то я согревалась, а рано утром, когда мы собирались в дорогу, фермерша или служанка, приходившая доить корову, давала мне чашку теплого молока, которое казалось мне тем более лакомым, что я к нему не привыкла.

Судя по пройденному нами пути, если предположить, что в день мы делали четыре или пять льё, все это длилось около недели. Наконец мы пришли в город Хоарден, служивший целью нашего путешествия.

Отец мой Джон Лайонс умер, и мать, оставив городок, где его настигла смерть, решила отправиться к его семейству, обосновавшемуся в Хоардене, и попросить помощи, чтобы воспитать меня и не пропасть самой.

Затем мою память снова заволакивает туман и я вижу себя уже через несколько месяцев пасущей стадо овец на хуторе — там мою мать взяли прислугой.

После испытанных ранее мытарств я полагала себя счастливой. Наступила весна, все зазеленело, и стало тепло. Склон холма, где паслось мое маленькое стадо, превратился в широкий ковер, расшитый тимьяном и вереском, и мои овечки с большим удовольствием щипали траву, а я плела себе венки из цветов. По вечерам я возвращалась на хутор и укладывалась спать в овчарне вместе с овцами. Корзинка с хлебом, кусочком масла или сыра, иногда крутым яйцом — это вполне утоляло мой голод на протяжении дня. Моя собака делила со мной хлеб и казалась столь же довольной заведенным порядком. После завтрака и обеда мы шли напиться к ближайшему источнику; там из земли бил ключ, создавая крошечное озерцо хрустально-чистой воды, и уже из него струя серебряной нитью змеилась по склону холма.

Так протекали три или четыре года, и никакие происшествия не оставили следа в моей памяти, ничто не нарушало прелестной монотонности моего существования.

Однажды, склонившись, как обычно, к источнику, чтобы напиться, и приблизив губы к воде, я взглянула на свое отражение в венке из цветущего розового вереска и маргариток и заметила, что стала хороша собой.

Я неверно выразилась, написав так: собственно, я не знала толком, что значит быть красивой. У меня никогда не было под рукой зеркала, в которое я могла бы поглядеть на себя. Но лицо, отразившееся в озерце, мне понравилось, я улыбнулась ему и приблизила губы к воде не столько для того, чтобы напиться, сколько чтобы поцеловать ту, что я там увидела.

С этого дня источник сделался моей туалетной комнатой: подле него я примеривала, расплетала и плела вновь свои венки, пока не оставалась довольной произведенным впечатлением, и выражала свое удовлетворение тем, что целовала личико, отражавшееся в воде.

Однажды такая нежность к самой себе чуть не привела к роковым последствиям: мои руки заскользили по траве, я упала в воду, и, если бы не моя собака, вытащившая меня оттуда, ухватив зубами за платье, я бы утонула.

Я весьма мало представляла себе, что хорошо и что дурно, а потому, желая высушить одежду, я разделась донага и сама растянулась рядом с платьем, чтобы обсохнуть. Тут меня позвали. Я вскочила, увидела, что это моя матушка ищет меня, и побежала к ней. Она меня сильно выбранила, хотя я толком и не поняла, что ее рассердило.

В нашем существовании наметились перемены к лучшему: моя матушка получила от графа Галифакса небольшую сумму, предназначенную отчасти ей самой, отчасти мне. Мою долю следовало употребить на мое образование.

Я никогда не могла хорошенько понять, какова была причина такой щедрости графа Галифакса, и матушка не пожелала мне ничего объяснить, однако на хуторе поговаривали, что в моих жилах, по-видимому, течет более благородная кровь, нежели кровь Джона Лайонса. Храни меня Господь обвинять мою мать! Однако если это правда, мне становятся более понятны и ее безотчетные желания и настойчивое стремление к общественному положению, которого я достигла, но к которому, безусловно, не была предназначена.

И вот на следующий же день моя мать объявила, что отныне мне не придется пасти моих овец, что меня поместят в пансион, воспитанниц которого я иногда видела, поскольку по четвергам и воскресеньям они нередко прогуливались около нашего хутора. Первыми моими словами тогда были:

— Матушка, а у меня будет такое же красивое голубое платьице и такая же большая соломенная шляпка, как у них?

— Конечно, — отвечала она, — ведь это форменная одежда, принятая в пансионе.

Я запрыгала от радости. Мне показалось, что я буду выглядеть очень хорошенькой в подобном наряде, обладать которым я не осмеливалась и мечтать. Я расцеловала одну за другой всех моих овец и передоверила их молодому пастуху, присланному мне на замену.

Но вот прощание с собакой затянулось надолго. Это животное, недавно спасшее мне жизнь, было очень нежно ко мне привязано. Я долго гладила и ласкала беднягу Блэка, прежде чем нашла в себе силы расстаться с ним, чтобы последовать за матушкой.

Верный пес увязался было за мной, какое-то время он разрывался между любовью ко мне и долгом, но долг возобладал: Блэк проводил меня до того места, где мог следить за мной глазами, не теряя из виду овец, уселся на скалистом отроге и время от времени жалобно лаял, глядя в мою сторону; там он оставался в неподвижности, то и дело оглашая окрестности горестным воем, и, даже когда поворот дороги скрыл его от меня, я еще долго слышала его тоскливый голос.

В тот же день матушка отвела меня в город, от которого наш хутор отстоял примерно в полулье. Там она заплатила за первые три месяца моего содержания в пансионе, и с меня сняли мерки для платья, которое шили в самом заведении, чтобы воспитанницы ничем не отличались друг от друга.

Все это случилось в среду, а поступить в пансион мне предстояло в понедельник. Хозяйка пансиона пообещала отправиться с воспитанницами на воскресную прогулку в сторону фермы, чтобы я могла примерить форменное платье. Для них это было большим праздником, поскольку им предстояло позавтракать свежими яйцами и парным молоком.

Гостей ожидали к девяти часам утра, и моя матушка взялась все приготовить.

Именно тогда я в первый раз узнала, какую силу имеют деньги. Моя мать, до того всего лишь бедная служанка, с которой на ферме обращались грубо, как с последним из батраков, вдруг без всяких объяснений, словно по общей естественной, хотя и молчаливой договоренности, поднялась до ранга главной прислуги, надзирающей за всеми прочими, — и все лишь потому, что в ее руке увидели банковый билет в сто фунтов. А ведь если предположения относительно причин его появления у нее были правдивы, они должны были бы не столько возвысить, сколько унижить ее в глазах всех окружающих.

После путешествия в город меня уложили на ночь подле матушки на тюфяке, положенном на стулья; под ним пристроился верный Блэк, встретивший меня так радостно, словно боялся, что я уже больше не приду.

За те три или четыре года, что я провела на хуторе, не замечая иных перемен, кроме череды времен года, мне ни разу не приходило в голову, что один день может оказаться длиннее другого. Мне никогда не хотелось торопить время; я просыпалась с рассветом, засыпала в сумерки, делила свой кусок хлеба с Блэком, а крошки рассыпала птицам, плела венки из цветов, любовалась своим отражением в воде источника, грезила, сама не зная о чем, и, когда наступал вечер, не спрашивала себя, как долго я ожидала его прихода.

Но тут все изменилось, что-то перевернулось в моей душе: минуты стали часами, часы — днями, дни — годами. Мне казалось, что я не доживу до благословенного воскресного утра, когда сброшу свои лохмотья и облачусь в новое платье, затмевающее голубизной небесную лазурь, и очаровательную соломенную шляпку, представлявшуюся мне воплощением каких-то впервые зародившихся неясных надежд и честолюбивых устремлений. Меня наяву преследовали странные смутные видения, какие обычно посещают нас только во сне; мне хотелось взобраться на вершину, достаточно высокую, чтобы обозреть гряды окружавших нас гор; я совершенно не представляла себе, что может находиться за их стенами, но, без сомнения, там было нечто более прекрасное, чем то, что видела я.

Увы, всю оставшуюся жизнь я стремилась достичь какой-либо вершины и проникнуть взглядом за горизонт, за тот предел, что положил мне сам Господь...

Наконец столь долгожданный день наступил. Накануне всю ночь я не могла сомкнуть глаз и задолго до первого луча зари была уже на ногах. Матушка встала почти так же рано, как и я; она тоже купила себе кое-какие обновки и в то утро оделась с непривычным до этого тщанием. Она оделась в наряд горской крестьянки, что носят в Уэльсе, и я впервые заметила, что она, по-видимому, некогда была очень красивой и все еще сохранила немалую привлекательность.

Затем, покончив с собственным туалетом, она занялась мною: расчесала волосы, уже тогда густые и шелковистые, естественно завивавшиеся крупными локонами, а затем, удивившись, что я еще в рубашке, пожелала натянуть на меня платье, которое я носила до того. Но я заупрямилась, объявив, что надеялась, снимая это тряпье накануне вечером, никогда его более не надевать.

Кроме того, поскольку ее платье показалось мне верхом красоты и совершенства, я спросила у нее, могу ли я на те деньги, что отпущены мне, купить такое же для себя. Она пообещала кое-что еще покрасивее, если в конце месяца хозяйка пансиона скажет ей, что довольна мною.

И я сказала себе: сделаю все и через месяц у меня появится новое платье.

А чтобы не облачаться в старое, снова улеглась на свой тюфяк и стала ждать девяти часов.

Но вот веселый щебет детских голосов, подобный щебету малиновок, оповестил меня о прибытии моих будущих однокашниц. Моя матушка, понимавшая, в каком я нетерпении, почти тотчас вошла ко мне в сопровождении воспитательницы, явившейся с новой одеждой.

Предназначенный мне узелок заключал в себе два совершенно одинаковых форменных платья — с тою только разницей, что воскресное было шито из более тонкого и приятного на ощупь полотна, — и все остальные предметы туалета от чулок до воротничков, каждого по полдюжине.

Я не могла поверить, что столько добра будет принадлежать мне одной.

Матушка заплатила за все, и лишь тогда я почувствовала себя полноправной обладательницей такого богатства. Оно обошлось нам в четыреста франков. Никогда я не видела столько денег сразу.

Пора было наконец приступить к моему туалету.

Портной, снимавший с меня мерку, оказался весьма искусен, и все пришлось мне как нельзя в пору. Не прошло и десяти минут, как я была готова.

Осколок зеркала — непривычная роскошь в комнатке матушки — позволил мне взглянуть на себя. Я испустила крик радости: мне показалось, что я стала еще более привлекательной, чем тогда, когда смотрелась в озерцо; особенно мне шла широкополая соломенная шляпка с развевающимися голубыми лентами банта; впоследствии, когда фортуна вознесла меня как нельзя более высоко, я нередко, желая как можно эффектнее оттенить те преимущества внешности, какими меня наградила природа, прибегала именно к соломенной шляпке с лентами, похожей на ту, что девочкой носила в хоарденском пансионе.

Одним прыжком я выскочила из комнаты, стремглав пересекла хуторской двор и выскочила на лужайку. Там прогуливались все воспитанницы пансиона — шесть десятков девиц от восьми до пятнадцати лет.

Они оглядели меня скорее с любопытством, нежели с симпатией.

Одна из великовозрастных пансионерок произнесла:

— А она недурна, эта крестьяночка.

Другая откликнулась:

— Да, но какая она неловкая!

Мое сердечко сжалось: в новую жизнь я вступала под презрительные и саркастические улыбки.

Я застыла перед ними в молчании, чувствуя, что мой лоб заливают краска стыда.

— А ну, малышка, — приказала третья, — сходи-ка на ферму и передай, чтобы нам принесли яиц и молока!

Однако самолюбие побудило меня взбунтоваться.

— Прошу прощения, мисс, — парировала я. — Мне кажется, я не нанималась в услужение ни к одной из вас.

— Разумеется, — улыбнулась первая из говоривших, — но так как ваша матушка прислуживает здесь на ферме, надеюсь, она будет так добра, что подаст нам все это. Мы проголодались.

В эту минуту моя мать вышла из ворот хутора, и я с плачем бросилась в ее объятия. Она спросила, что меня так расстроило, поскольку за минуту до того я рассталась с ней радостная и счастливая.

В двух словах я рассказала ей о происшедшем.

Мои жалобы услышала и хозяйка хутора. Она подошла к пансионкам и сказала:

— Любезные барышни, моя ферма не постоянный двор. Я продаю масло, молоко и яйца на рынке, а не здесь. По просьбе моей приятельницы госпожи Лайонс я с радостью предложила бы вам все это, но, если гостеприимство ко многим обязывает, оно же имеет и некоторые права, среди них — право не подвергать себя оскорблениям. Я требую соблюдения этого правила как в отношении меня самой, так и всех, кто живет в моем доме.

— Прекрасно сказано, сударыня! — откликнулась хозяйка пансиона. — Благодарю вас за преподанный урок. Мне и самой хотелось отчитать их, но, думаю, у меня так хорошо не получилось бы. Те из моих воспитанниц, кто сочтет себя достойными чести, оказанной вами, сами отправятся к вам за завтраком, и я заранее от имени всех их и от своего собственного приношу вам свою благодарность. Те же, кто не пойдет, обойдутся без еды. Вот и все. Итак, барышни, кто меня любит, пусть следует за мной!

И хозяйка пансиона — ее звали миссис Колманн, — подавая пример всем прочим, направилась к дому. Воспитанницы последовали за ней, кроме тех трех, что прямо или косвенно обращались ко мне с неучтивыми словами.

Почти тотчас миссис Колманн снова появилась на пороге, держа в одной руке корзину с яйцами, а в другой — большой кувшин исходившего паром молока.

За ее спиной шли две воспитательницы, каждая тоже с корзинкой яиц и кувшином.

Шествие замыкали фермерша и моя матушка, неся по огромному караваяу только что вынутого из печи хлеба со светлой аппетитной корочкой.

У каждой воспитанницы пансиона были с собой собственные тарелка, вилка, ложка и нож.

Все расположились на лужайке вокруг миссис Колманн и воспитательниц.

Три непокорные остались стоять в сторонке.

Тогда я обратилась к хозяйке хутора:

— Миссис Дэвидсон, не могли бы вы мне дать шесть яиц в маленькой корзинке, кувшинчик теплого молока и три чашки?

Она поняла, что было у меня на уме, поцеловала меня в лоб и дала просимое.

Я выбежала от нее и принесла корзинку, кувшин и чашки трем добровольным изгнанникам.

— Сударыни, — сказала я, — не угодно ли вам простить меня, ведь это я стала невольной виновницей того, что вас наказали?

— Благодарю вас, — процедила старшая из них. — Мы не голодны.

— Эмма, — воскликнула хозяйка пансиона, — подойдите, поцелуйте меня и присядьте здесь, рядом! Вы добрая, хорошая девочка.

Я оставила корзинку с яйцами, кувшин и чашки у ног трех строптивиц и уселась подле миссис Колманн. Она сказала правду: я действительно была доброй, хорошей девочкой. Моя ли вина, Создатель, или вина того мира, в который я попала, что я стала растленным созданием, ныне преклоняющим колена пред ликом твоим?

II

После завтрака, на котором наказанные девицы присутствовали, хотя и не принимали в нем участия, все подопечные миссис Колманн вместе с ней самой возвратились в город.

Утром, до того как все это случилось, моим самым большим желанием было без промедления отправиться к миссис Колманн и занять место среди ее учениц. Но теперь мой первоначальный энтузиазм несколько остыл и я испросила у матери позволения еще немножко побыть на ферме. Итак, мы условились, что она отправит меня в пансион лишь на следующее утро.

Заметив, как я подавлена неприятным впечатлением, и опасаясь упустить новую воспитанницу, миссис Колманн на прощание осыпала меня ласками и даже склонила нескольких девочек из числа тех,

кто помладше, быть со мной полюбезнее. Но я-то все равно прекрасно чувствовала, что для этих пансионерок всегда останусь не более чем крестьяночкой, дочкой служанки с фермы.

То, что я останавливаюсь на таких подробностях — этих и им подобных, о которых мне еще предстоит рассказать, — возможно, на первый взгляд выглядит наивным ребячеством. Но дело в том, что они оказали огромное влияние на мою судьбу. Так цветы бывают обязаны своим блеском и ароматом, а плоды сочностью и красотой не только садовнику, что возвращает их с большим или меньшим искусством и заботой, но и состоянию атмосферы, зависящему от случайных капризов природы. Моим главным грехом была гордыня: она сжигала меня, и дыхание людского презрения не охлаждало, а раздувало это пламя. Подобно Сатане, что сначала был прекраснейшим и возлюбленнейшим из ангелов Божьих, я погибла из-за своей гордыни, хотя рождена была лишь бедным, слабым человеческим существом.

Когда миссис Колманн с воспитанницами удалилась, я побрела по дороге, ведущей к тому самому холму, где я последние три-четыре года пасла свое маленькое стадо.

По воскресеньям этот холм служил для многих горожан местом их прогулок. Среди обитателей фермы уже не осталось никого, кто бы не видел меня во всем блеске. Там я уже наслаждалась всем возможным успехом и теперь отправилась на поиски новых восторгов и похвал.

И действительно, поднимаясь по склону холма, я встретила или обогнала несколько стаяк гуляющих, и многие заметили мою широкополую соломенную шляпку, длинные волосы, развевающиеся на ветру, румянец юности и здоровья, цветущий на моих щеках. До моего слуха доносились голоса:

— Смотрите! Что за прелестное дитя!

А кто-то спросил:

— Позвольте, да это же маленькая пастушка, та самая, что пасет овец миссис Дэвидсон?

Увы, так оно и было...

Это замечание, в сущности вполне доброжелательное, отравило всю радость, что доставили мне восторженные восклицания других прохожих. Я погрузилась в грустную задумчивость и продолжала путь, потупив глаза и один за другим роняя из расслабленных пальцев цветы, которые собрала, чтобы сплести себе венок.

Вдруг я услышала радостный лай: Блэк, узнавший меня издали, бросился мне навстречу. Бедное животное не обратило ни малейшего внимания на мой новый наряд, оно думало, что ему позволено обращаться с будущей пансионеркой миссис Колманн словно с овечьей пастушкой.

Окрик «Пошел прочь, Блэк!» и удар хворостиной по непочтительным лапам, исторгнувший у него жалобный визг, были единственной наградой старому и, может быть, самому верному из всех друзей, каких я когда-либо имела. Так я ответила на его приветствие, полное радости и ласки.

Блэк отошел от меня, понурившись и покачивая головой, словно говоря самому себе что-то и сам же себе отвечая.

Пастушонок, теперь стороживший овец вместо меня, при моем появлении вскочил на ноги. Было видно, что он меня не узнал. Только когда я приблизилась, он воскликнул:

— Ох, да это же вы, мисс Эмма! Какая... какая вы красивая!

Я улыбнулась ему. Это был единственный комплимент, к которому не примешивалось что-нибудь обидное.

Я была чрезвычайно признательна пастушку. Как выяснится впоследствии, эти несколько слов должны были повлиять на мою грядущую судьбу.

— Здравствуй, Дик, — сказала я. — Ты славный малый! И ты тоже будешь красивым, если приоденешься.

— Э, обо мне нечего толковать, — возразил он. — Я простой крестьянин, и вряд ли мне когда-нибудь случится надеть что-нибудь получше. А вы совсем другое дело, видно, вы и впрямь настоящая мисс.

Он намекал на слухи о любовной связи моей матери с графом Галифаксом, распространившиеся с тех пор, как этот господин дал ей сто фунтов стерлингов.

Я ничего на это не ответила, так как не вполне поняла, что он хочет сказать, и спросила, как поживает его сестра, девочка примерно моих лет, по имени Эми Стронг, — в то время она была служанкой на соседней ферме.

— У нее все в порядке, — отозвался он. — Вот бы она обрадовалась, если бы видела вас такой хорошенькой да нарядной!

— Ты так думаешь? — спросила я.

— Само собой, — отвечал он. — Вы ей нравитесь, мисс Эмма. И потом, она никогда не завидует, если кому повезет.

Мы стояли на берегу озерца. Я склонилась над водой, но почему-то не решилась в присутствии Ричарда¹ поцеловать свое отражение, как это делала, когда бывала одна.

Ричард засмеялся:

— Вы смотрите в наше озерцо... А придет час, мисс Эмма, когда вы уедете в город и станете любоваться собой в больших зеркалах

¹ Известно, что английское имя Дик — это уменьшительное от Ричарда. (Примеч. автора.)

с золоченой рамой, что выставлены при входе в магазине Хоардена. Когда будете там проходить, постоит перед витриной и осмотрите себя с ног до головы. Там большие зеркала и можно глядеть в свое удовольствие, за это платы не берут.

Я присела на берег, более не пытаюсь поймать взглядом свое зыбкое, искаженное рябью отражение. В мечтах я уже видела себя перед огромным, прекрасным зеркалом в золоченой раме. Вот я в элегантных покаях среди богатой, красивой мебели, под ногами у меня турецкий ковер, на окнах занавеси из небесно-голубого шелка, и я сама в платье того же цвета. Я закрыла глаза, чтобы забыть о моем действительном положении и всецело отдаться чудесным грезам.

Увы! Сколько раз они тешили меня, эти мечты — ослепительное предвестие грядущего!

Откуда они только взялись, эти видения, пришедшие из неведомого мне мира? Быть может, в них отразился блеск роскоши, виденной мной во младенчестве? В моем сознании эти образы быстро поблекли, но детская память сохранила отпечаток тех давних впечатлений. Когда я заговаривала с матушкой об этих смутных воспоминаниях, она лишь отвечала, что, должно быть, моей крестной матерью была фея, которая по ночам уводила меня в волшебные дворцы.

Вот и на этот раз крестная взяла меня за руку и увлекла за собой. Открыв наконец глаза, очарованные радужными видениями, я сказала маленькому пастуху:

— Ну, прощай, Дик. Завтра я уезжаю в пансион миссис Колманн. Но по четвергам и воскресеньям я буду возвращаться на ферму. Иногда я буду и сюда приходить, чтобы повидаться с тобой.

И я удалилась, даже не вспомнив о Блэке. Бедное животное, обескураженное тем, как неласково я встретила его, не могло понять, почему теперь я его так равнодушно покидаю. Пес побрел было за мной, но вскоре остановился, сел и смотрел, как я спускаюсь с холма.

Обернувшись, я бросила прощальный взгляд на этот уголок, эдем моего детства с его кустами можжевельника, молоденькими дубами, поляной, поросшей розовым вереском, и ключом, с журчанием бьющим из земного лона и сбегаящим в долину, образуя маленькие водопады. Дик прилег на землю, обстругивая ножом кору с палки; его овцы бродили то тут, то там в нескольких шагах от пастушонка; Блэк сидел между ними и мной и смотрел мне вслед печальными глазами отвергнутого друга. Я даже не додумалась подозвать его и утешить, хотя бедный пес всем своим видом пытался объяснить, что он все равно любит меня. Но он не мог, подобно Дикю, сказать мне, что я красива.

Так я впервые проявила неблагодарность.